

Асмодей Денница



ТРЕТЬЯ СМЕНА

18+

Асмодей Денница

ТРЕТЬЯ СМЕНА

«Автор»

2026

Денница А.

ТРЕТЬЯ СМЕНА / А. Денница — «Автор», 2026

22 декабря 1978 года в шахтёрском городе Шахты девятилетняя девочка уходит с остановки с человеком в сером пальто — «добрым учителем» в круглых очках, с потёртым портфелем. Через два дня её находят в реке. Следователь прокуратуры Иван Ковалёв начинает охоту, которая продлится шестнадцать лет. Но убийца не прячется в подвалах. Он преподаёт, работает снабженцем, растит детей, уступает место в электричке. Он сам приходит в прокуратуру — «помочь следствию». Он сливается с толпой, потому что он её часть. И пока система ищет «молодого психопата с безумными глазами», человек в сером пальто продолжает свою работу — смену, на которую выходит снова и снова. В основе романа — реальная история самой страшной серии убийств в советской истории. Но «Третья смена» — не документалистика, а художественное исследование. Повесть-триллер.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Первая кровь	6
II. Город до пробуждения	9
III. Дом на Межевом переулке	10
IV. Вечер в семье	11
V. Утро	12
Глава 1. Человек в серомпальто	13
Глава 2. Гуренковадрожит	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Асмодей Денница

ТРЕТЬЯ СМЕНА

Пролог. Первая кровь

«Quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus»

— Говорим, что чувствуем; чувствуем, что говорим. —

22 декабря 1978 года, 18:47. Город Шахты, Ростовская область.

Снег падал медленно, лениво, словно природа сама не верила в то, что должно случиться в этот вечер. Он ложился на тротуары, на крыши, на спящие сады и на террикон — чёрный холм, который возвышался над городом, как память о чём-то, что давно выкопали из земли и не сожгли до конца. Старики говорили, что террикон ещё дышит. Что под ним, в толще породы, лежит угольная пыль, которая никогда не остывает, — и если приложить к нему ухо, можно услышать, как она тикает. Как часы. Как сердце.

Девятилетняя Лена Закотнова вышла из трамвая на остановке «Трампарк» и поправила съехавшую набок шапку. Дома её ждали мама, борщ и незаконченная задача по математике — про поезда, которые едут навстречу друг другу с разной скоростью. Девочка любила эти задачи. Она любила, когда из двух неизвестных в конце концов выходило одно число — ровное, аккуратное, правильное. Жизнь, казалось ей, должна была быть устроена так же: два поезда, одна встреча.

Девочка не знала, что сегодня поезда уже не встретятся.

Он стоял у фонаря, высокий, сутулый, в сером пальто и круглых очках, которые делали его похожим на доброго учителя из старых фильмов. В руке он держал портфель — потёртый, с треснувшей кожей на углах, тяжёлый, как будто внутри лежала не бумага, а что-то иное. Лена видела таких мужчин каждый день: они ездили в электричках, читали газеты, уступали место женщинам с детьми. Обычные. Незаметные. Никто.

— Девочка, — сказал он тихо, и голос его был мягким, как вата. — Ты, наверное, замёрзла?

Лена остановилась. Мама говорила не разговаривать с незнакомцами, но этот человек выглядел так... обычно. Как сосед дядя Коля, который всегда давал ей конфеты «Гусиные лапки». Вокруг него не было ничего пугающего — ни резкого запаха, ни шума, ни суеты. Просто человек, которому холодно, и которому, видимо, тоже хочется, чтобы кто-то поговорил.

— Немного, — ответила она, и пар изо рта растаял в морозном воздухе.

— У меня дома есть жвачка, — сказал мужчина, и в его глазах за толстыми стёклами мелькнуло что-то. Что-то, чего Лена не увидела — или не захотела увидеть. — Американская. «Ригли». Хочешь?

Американская жвачка. В 1978 году это было сокровище, о котором мечтали все дети Советского Союза. Её привозили из-за границы, продавали из-под полы, обменивали на марки, монеты, фантики. Лена никогда не пробовала настоящую американскую жвачку. Она представляла её вкус — сладкий, холодный, непохожий ни на что из того, что лежало на прилавках магазинов её города.

— А вы не врётё? — спросила она, и в голосе прозвучала та смесь недоверия и надежды, которая бывает только у детей.

Мужчина улыбнулся. Улыбка вышла кривой, будто мышцы лица забыли, как это делается правильно, будто они вспоминали по памяти, но что-то путали — угол, наклон, продолжительность.

— Пойдём, тут рядом. Межевой переулок. Пять минут.

Они пошли по улице, мимо заснеженных тополей, мимо магазина, где уже гасили свет, мимо школы, где Лена училась и где завтра её будут искать. Снег скрипел под ногами, и этот звук казался единственным звуком в мире — чистым, сухим, точным. Два поезда, идущих

навстречу друг другу. Только теперь Лена не знала, что этот поезд — не встретится с домом. Никогда не встретится.

Дом стоял в стороне от дороги — старая мазанка, вросшая в землю, с тёмными окнами и покосившимся крыльцом. Лена никогда не видела этот дом раньше, хотя жила неподалёку. Он был какой-то... невидимый. Словно его не существовало, пока не помотришь прямо. Словно он ждал, когда его заметят, — и вот наконец дождался.

— Проходи, — сказал мужчина, открывая дверь.

Внутри пахло сыростью и чем-то ещё — сладковатым, тяжёлым, как запах давно не мытого тела, как запах тёмного угля, который лежит под домом и помнит то, что в него опускали. Лена сделала шаг, потом ещё один. Ей вдруг стало страшно, но она не могла понять почему. Всё было нормально. Обычный дом. Обычный дяденька. Обычная жвачка.

— Сейчас, — сказал он, и в его голосе что-то изменилось. Что-то треснуло, как лёд на реке, как свод, который больше не держит. — Сейчас.

Дверь закрылась.

Он не помнил, в какой момент это началось. Всю жизнь Андрей Романович Чикатило считал себя обычным человеком. Тихим. Застенчивым. Униженным. Так говорила жена, так говорили сослуживцы, так говорил он сам себе, когда просыпался по ночам от кошмаров, которые не мог вспомнить.

Но здесь, в этом доме, среди голых стен и запаха земли, он был другим. Здесь он был Богом.

Мелкий, обычный, незаметный бог крошечного мирка с запахом почвы. Бог, которому не нужно ни храма, ни паствы — только один миг тишины, когда мир падает на колени.

Девочка кричала. Это было... правильно. Нужно. Крик был как молитва, как причастие, как вода для умирающего от жажды. Чикатило навалился на неё всем телом, чувствуя, как под ним бьётся что-то маленькое, тёплое, живое. Его руки двигались сами собой — сжимали горло, рвали одежду, шарили в поисках того, чего он сам не мог назвать.

«Ты же не хотел, — думал он. — Ты же просто хотел... просто хотел...»

Чего он хотел?

Он не знал. Не мог знать. Это желание было старше его самого, старше человеческого языка, старше памяти. Оно жило в самой глубине его существа — там, где ещё не было слов, где был только голод. Голод по чему-то, чего нельзя купить, съесть, отнести домой. Голод, который копился месяцами и годами, который нельзя было утолить ни едой, ни сном, ни женщиной. Его нужно было освобождать. Как пар из шахты. Как спусковой клапан, который наконец-то открыли.

Девочка перестала сопротивляться. Её маленькое тело под ним обмякло, стало послушным, как кукла. В глазах, распахнутых и круглых, не было страха — только удивление, огромное и чистое, как снег за окном. Будто она ждала от жизни чего-то другого, а жизнь вдруг показала себя другой стороной — той, что оставлена для взрослых.

Потом мужчина поднялся. Он стоял над ней, тяжело дыша, и в его голове было то самое пустое, ясное место, которое знакомо только тому, кто никогда не бывал на войне и не знал, зачем здесь оказался. Он чувствовал... ничего. И это «ничего» было самым страшным, потому что где-то на дне его сознания — очень глубоко, очень далеко — жил человек, который понимал, что произошло. Человек, который был Андреем Романовичем Чикатило, преподавателем, мужем, отцом двоих детей.

Этот человек смотрел на его руки, испачканные в крови, и плакал. Но это был другой человек. Не он. Он был где-то далеко, и его там не было.

«Надо спрятать», — подумал Чикатило, и эта мысль пришла откуда-то извне, как будто кто-то другой думал за него. Кто-то очень практичный. Кто-то, кто делал это раньше — много

раз, в других жизнях, в других телах, в других городах, где под землёй так же стучало чужое сердце.

Он одевал девочку медленно, аккуратно, как мать одевает ребёнка в детский сад. Шарф, пальто, шапка. Всё как было. Только внутри уже ничего не было — только пустота, которую он сам создал.

Труп он отнёс к реке. Грушевка была недалеко — тёмная вода, покрытая тонкой коркой льда у берегов, глубокая в середине, где не замерзала совсем. Чикатило размахнулся и бросил тело в чёрную полынью. Всплеск был негромким — как будто кто-то уронил камень.

Портфель полетел следом.

Он стоял на берегу и смотрел, как течение уносит тело его первой жертвы. Снег падал на его лицо, таял, стекал по щекам, как слёзы. Чикатило поднял руку и посмотрел на неё. Кровь уже смылась — или её никогда не было. Только чистая кожа, покрытая гусиной кожей от холода.

Он пошёл домой.

По дороге он ни о чём не думал. Вообще ни о чём. Как будто часть его мозга, которая отвечала за мысли, отключилась, и осталась только пустота. Он шёл, смотрел на снег, на дома, на редких прохожих, и его лицо было спокойным, как у человека, который просто возвращается с работы. Только чуть бледнее. Только чуть отрешённое.

Дома жена спросила:

— Ты где был?

— На работе задержался, — ответил Чикатило, и голос его не дрогнул.

Он сел ужинать. Ел борщ, хлеб, смотрел телевизор — передавали «Время», говорили о международном положении, о разрядке напряжённости, о мире во всём мире. Потом он лёг спать и спал крепко, без снов.

Только под утро, когда небо за окном начало светлеть, он вдруг проснулся от странного ощущения. Ему показалось, что кто-то стоит у кровати и смотрит на него. Не человек. Не тень. А само место — чёрный холм за окном, террикон, который всю жизнь тихо дышал под городом.

Чикатило открыл глаза — никого не было. Только тени в углах комнаты, которые шевелились, хотя окно было закрыто. Он лежал и слушал тишину.

И в этой тишине он услышал голос — свой собственный голос, который говорил где-то очень далеко, на самом дне его существа. Голос был тихий, ровный, пустой — как звук вагона, идущего в никуда.

«Это только начало».

Чикатило перевернулся на спину и долго смотрел в потолок. Из-под пола, из-под дома, из-под всего города доносилось то самое тиканье — слабое, ровное, неумолимое. Как сердце. Как часы. Как смена, которая вышла на работу и больше никогда не вернётся.

«Третья смена, — подумал он невольно, не понимая, откуда в нём это слово. — Я на третьей смене».

Через два дня тело Лены Закотновой выловили из реки Грушевки. Оно застряло у бетонных плит старого моста, там, где течение замедлялось. Милиция начала расследование. В городе Шахты появился первый в истории этого города серийный убийца.

Но никто — ни следователи, ни прокуроры, ни сам Чикатило — ещё не знал, что это только пролог к одной из самых страшных историй XX века. Истории, в которой будет много жертв. Истории, в которой зло окажется страшнее любого вымысла. Истории, в которой дьявол носит очки и портфель с документами.

И лишь террикон над городом, старый чёрный холм, продолжал тихо тикать — как сердце, которое никогда не останавливается, как смена, которая никогда не заканчивается.

II. Город до пробуждения

За пять лет до этого вечера, когда Лена Закотнова ещё и не родилась, а Андрей Романович Чикатило был молодым преподавателем, который заикался и стеснялся собственного отражения, — город Шахты был другим. Был город, в котором угольная пыль лежала на подоконниках толстым слоем, в котором шахтёры спускались в забой ещё до рассвета и поднимались наверх, когда уже темнело. Город жил в ритме смен: три смены в сутки, три заступа, три выхода из шахтного двора.

Утренняя смена. Дневная. Ночная.

Чикатило знал этот ритм лучше любого горожанина, потому что вырос тут, потому что помнил, как горели на терриконах огни, как скрежетали лебёдки, как по утрам, до самого горизонта, тянулись к стволу шахты тёмные фигуры в касках. Он помнил запах их сапог, пота и угольной крошки, который впитывался в половицы, когда сосед дядя Митя возвращался домой. И он помнил одну вещь, которую не говорил никому, потому что не находил для неё слов.

Он помнил третью смену.

Не так, как помнят расписание. А так, как помнят нечто, что однажды вошло в тебя и осталось. Он был маленьким, лет шести, когда впервые услышал от стариков на лавочке, что третья смена — особенная. Что в неё работают не люди, а те, кто спустился в забой когда-то давно и, по какой-то причине, не захотел или не смог вернуться. Что если ночью, у самого ствола закрытой шахты, прислушаться — можно услышать, как они перекликаются там, внизу, шёпотом, — и как отзывается им порода.

Поначалу он не верил. Дети не верят в такие вещи, пока не слышат их сами.

Однажды ночью, года в семь, он проснулся от жажды и, выглянув в окно, увидел, как за гаражным кооперативом, где чернел старый террикон, что-то мигнуло. Не фонарь, не огонёк — а так, слабое, ровное свечение, как будто в толще породы кто-то держал лампу над головой и шёл по штреку, который никто не проходил уже тридцать лет. Он стоял у окна, босой, на холодном полу, и смотрел на этот огонёк долго-долго, пока тот не погас.

А под утро он услышал звук.

Точь-в-точь такой же, какой старики называли «тиканьем». Ровный, глухой, размеренный — как стук сердца, только не из груди, а откуда-то из-под земли, из-под пола, из-под всего города. Он шёл, куда бы мальчик ни пошёл — в школу, в магазин, в гости к бабушке. Он не давал о себе знать постоянно, но когда наступала тишина — а она всегда наступала после полуночи, — звук возвращался.

Мальчик не боялся его. Странно, но не боялся. Он слушал его, как слушают шум далёкой воды, — со спокойствием, к которому примешивалось что-то тёмное, тягучее, необъяснимое. Ему казалось, что этот звук не чужой. Что он — часть чего-то, что ждало его всю жизнь. Что однажды он поймёт, что с ним делать.

И вот теперь, стоя на берегу Грушевки, глядя, как течение уносит маленькое тело, — Чикатило понял, что этот момент наконец наступил.

Тот самый отсчёт, который он носил в себе с детства, — замолчал. И в этой тишине родилось нечто новое: не звук, а знание.

Он знал, что сделал. Он знал, что это было правильно. И он знал, что это не последний раз.

III. Дом на Межевом переулке

Мазанка на Межевом переулке, куда Чикатило привёл девочку, была его убежищем. Убежищем в самом простом, самом страшном смысле этого слова — местом, где он мог быть собой, не боясь, что кто-то увидит.

Он не жил там. У него был настоящий дом, неподалёку, с женой и детьми, с клеёнкой на столе и старым телевизором, где по вечерам шла программа «Время». Тот дом был его витриной, его фасадом, его алиби. А эта мазанка была его изнанкой.

Он приобрёл её давно, ещё в молодости, у вдовы погибшего шахтёра, которая уезжала к дочери в другой конец страны. Вдова была рада продать — дом, по её словам, «несвятой», «неудачливый», «стоял на беде». Чикатило тогда только посмеялся над её словами. Ему было всё равно, на какой беде стоит дом. Ему было важно другое — что это пустое, ничейное, тёмное место, куда никто не сунется.

Он обставил его скупой железной кроватью у стены, стол, табурет, ведро в углу, жестяная лампа. Ни одного зеркала. Он не любил зеркал — не любил смотреть на себя, когда приходил сюда. Здесь зеркала были лишними: они показывали бы то, на что он сам боялся смотреть.

Чикатило не думал об этом, когда шёл за девочкой. Он шёл, как идут на работу — механически, по привычке, по тому самому внутреннему расписанию, которое было в нём всю жизнь. Он не планировал. Он не готовился. Он просто шёл, и тот ровный отсчёт в груди вёл его, как ведёт заводной механизм.

И когда дверь закрылась за ними — когда отсчёт наконец остановился, — он понял самое страшное и самое желанное: он не ошибся.

Тиканье замолчало. Но где-то глубоко, под самой мазанкой, в толще породы, он слышал, как отзывается на его присутствие что-то тёмное. Что-то, что ждало этого дня дольше, чем он жил на свете.

Что-то, что теперь знало его имя.

IV. Вечер в семье

Домой Чикатило вернулся, когда жена уже накрыла ужин.

— Ты где был? — спросила она, не поднимая глаз от тарелки, потому что знала: он не любит, когда на него смотрят в упор.

— На работе задержался, — ответил он ровно, и голос его — тот самый, тихий, вежливый голос, который он носил как вторую одежду — не дрогнул ни на половицу.

Он сел к столу, развернул салфетку, аккуратно положил её на колени. Жена подала ему борщ — наваристый, с чесноком, пахнувший так, как пахнут дома, в которых ничего не случилось. Он машинально взял ложку, опустил её в тарелку, помешал.

Есть он не мог.

Не потому, что его тошнило. Наоборот — внутри у него всё было совершенно спокойно, почти пусто. Он просто не чувствовал ни вкуса, ни запаха, ни самого желания есть. Еда — борщ, хлеб, закуска — казалась ему чем-то далёким, как будто он смотрел на неё из-за толстого стекла, из-за того самого зазора, что отделял его от мира.

Он всё же поднёс ложку ко рту, проглотил, прожевал — правильно, аккуратно, как делал всё в этом доме, — потому что знал: если он не поест, жена заметит, начнёт спрашивать. А спрашивать она умела — тихо, настойчиво, с той женской тревогой, которую он не выносил, потому что она требовала от него объяснений, а объяснений у него не было.

— Ты какой-то бледный, — заметила жена, убирая его пустую тарелку. — Не заболел?

— Устал. — Чикатило провёл рукой по лицу, как будто стирая усталость. — Много работы. Накладные, отчёты.

— Ты бы полегче, — сказала она, поворачиваясь к плите. — У тебя глаза вон какие. Красные.

Чикатило промолчал. Он смотрел на её спину, на то, как она моет посуду, — и думал о том, что жена, наверное, единственный человек в мире, который знает его «настоящего». Только она не знает, что «настоящий» — это не тот, кто сидит с ней за одним столом, а тот, кто стоял сегодня в тёмной мазанке, с кровью на руках.

Он встал, пожелал спокойной ночи и пошёл в свою комнату.

Он не хотел спать. Он хотел побыть один, в темноте, — чтобы прислушаться к себе. К той новой тишине, которая поселилась в нём вместо прежнего отсчёта.

Только тени в углах. Только шорох старого дома. Только этот тихий, ровный, неуловимый звук, который он знал всю жизнь и который — он понял это теперь — никогда не прекращался. Он просто перешёл из «тиканья» в нечто другое. В голос.

Тиканье замолчало. Смена началась.

Он закрыл глаза и заснул крепко, без снов, — как человек, который наконец-то нашёл своё место в мире.

V. Утро

Утром Чикатило проснулся рано — ещё затемно, до будильника, — и лежал, глядя в окно, на которое уже ложился серый предрассветный свет. Он не боялся утра. Наоборот — утро было для него временем наибольшей безопасности, временем, когда он мог удостовериться, что всё в порядке, что никто ничего не заметил, что нож спрятан, что одежда чиста, что он по-прежнему «обычный человек».

Он встал, умылся, оделся. Посмотрел в зеркало — на это раз посмотрел, не отводя глаз, — и не узнал себя.

В зеркале стоял тот же высокий, сутулый, усталый мужчина в очках, с которым он прожил сорок лет. Тот же редкий белёсый ёжик волос, те же глубокие морщины у рта, та же робкая, виноватая осанка. Но в глазах — в этих водянистых, ничего не выражающих глазах — теперь было что-то новое. Что-то, чего он не видел раньше.

Твёрдость.

Он посмотрел на свои руки. Обычные руки. Чистые. Руки человека, который за всю жизнь, может быть, и мухи не обидел — так, по крайней мере, считали все, кто его знал. Он поднёс их к лицу, понюхал.

Никакого запаха. Ни крови, ни земли, ни той тёмной мазанки. Только мыло и вода. Только обычность.

Он улыбнулся отражению — той самой кривой, неумелой улыбкой, которая не выходила у него правильно, — и зачем-то сказал вслух, тихо, не глядя на дверь:

— Всё будет хорошо.

В тот день он пошёл на работу, как обычно, — оформил накладные, поставил подписи, поговорил с коллегами о погоде и о том, что цены подросли. Никто не заметил в нём ничего странного. Он был всё тот же тихий, вежливый, незаметный Андрей Романович, которому уступали место в очереди и на которого никто не оглядывался.

Только сам он знал, что внутри него теперь — совсем другое. Что он больше не «обычный человек». Что он — тот, кого он всегда носил в себе под серым пальто. И что эта его настоящая, тёмная, невидимая смена — только началась.

А город за окном, под серым небом, под снегом, под терриконом — продолжал тикать. Как сердце. Как часы. Как смена, которая не кончится никогда.

«Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

— Иоганн Вольфганг Гёте, «Фауст»

Глава 1. Человек в серомпальто

«Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите?»

— *Евангелие от Марка, 8:18*

Следователь прокуратуры Ростовской области Иван Ковалёв стоял на берегу Грушевки и смотрел на реку, пытаясь понять, что он упускает.

Тело нашли утром. Оно застряло между бетонными плитами старого моста, там, где течение замедлялось и вода крутилась чёрной воронкой, собирая мусор, ветки и всё, что город хотел забыть. Мост этот был старый, ещё дореволюционной кладки, с выщербленными парапетами и ржавой арматурой, торчащей, как кости из старой раны. Козыри. Говорливый, но ненадёжный. Течение, крутясь у его опор, собирало и задерживало всё, что не тонуло сразу. Оттого и работали здесь рыбаки — те, что не брезговали. И этот, рыбак Святослав Вакуленко, закинул сеть с утра и вытянул на берег то, что сеть не должна была вытягивать.

Труп был полностью одет, если не считать школьного портфеля, который так и не нашли. Синие колготки, красное пальто, шапка с помпоном — всё на месте. Мать, может, сама её собрала в тот вечер, так, как собирают детей в школу в первый день — тщательно, бережно, с той особой нежностью, которую дети принимают как должное. Только внутри девочки уже ничего не было.

Ковалёв прикурил сигарету и затянулся, чувствуя, как горький дым заполняет лёгкие. Он был следователем уже двенадцать лет и повидал всякое — драки, убийства на почве пьянства, разборки, несчастные случаи. Но дети — дети всегда были хуже всего. Дети были тем, что не укладывалось в голову, что не поддавалось логике, что кричало о какой-то фундаментальной неправильности мироустройства, о трещине в основании всего, на чём стоит человек.

— Заключение эксперта? — спросил он, не оборачиваясь.

За его спиной стоял молодой помощник, Виталий, который ещё верил в справедливость и в то, что преступления раскрываются. Он обычно носил с собой блокнот в виниловой обложке и полную уверенность, что правда где-то рядом и что её можно записать.

— Три ножевых ранения в живот, — ответил Виталий, заглядывая в бумаги. — Смерть наступила от механической асфиксии — её душили. Плюс следы... — он замаялся.

— Что?

— Следы сексуального характера. Но не изнасилование. Скорее... манипуляции. Понимаешь, неумело. Как будто человек не знал, что делать. Как будто... — Виталий поднял глаза от бумаг. — Как будто он для себя это делал, а не для неё.

Ковалёв кивнул. Он видел это в морге — то, что осталось от девочки, лежало на холодном столе, и патологоанатом, старый Борис Аркадьевич, с горечью в голосе говорил что-то про повреждения, сроки и про то, как редко ему приходится вскрывать детей. Но Ковалёв не слушал. Он смотрел на лицо Лены Закотновой и думал о том, что где-то в этом городе ходит человек, который сделал это. Ходит, дышит, ест, спит, разговаривает с людьми. И никто не знает, что он — чудовище.

Он отвернулся от реки и оглядел берег — тот натоптанный, сырой участок, где сустились криминалисты, где уже были расставлены вешки, где под ногами хлюпала раскисшая земля. Он смотрел, как аккуратно, привычно работают люди, как снимают отпечатки, как замеряют расстояния, — и думал о том, что это всё уже было. Что он уже видел это — этот берег, эти вешки, эту возню криминалистов над тем, что вчера ещё было человеком. Что он слишком хорошо знал этот ритуал, чтобы верить, что он имеет отношение к правде.

Правда была не здесь. Правда была там — в той секунде, когда всё это произошло. Когда она ещё дышала. Когда её ещё можно было остановить. И эта правда ушла вместе с тем, кто

это сделал, — ушла в город, в этот серый, заснеженный город, и растворилась среди таких же обычных, таких же незаметных людей.

«Я найду его, — думал Ковалёв, глядя на реку, на снег, на далёкие, припорошенные крыши. — Я найду того, кто это сделал. Я не знаю ещё как. Не знаю когда. Но я найду».

Он не знал, что эти слова станут его присягой. Что он будет повторять их себе двенадцать лет. Что ради них он будет гоняться за тенью, сходиться с ума от почти-пойманного, отдаст этой охоте свою молодость, свою семью, свою жизнь. И всё равно — до конца.

Он затянулся ещё раз, потушил сигарету о подошву и вернулся к делу.

В шести кварталах от реки, в маленьком домике на Межевом переулке, Андрей Романович Чикатило пил чай.

Он сидел за столом, застеленным клеёнкой в мелкий цветочек, и смотрел в окно на падающий снег. Жена ушла на работу — она работала в столовой, вставала рано, уходила затемно. Дети были в школе. В доме стояла тишина — та особая тишина, которая бывает только в домах, где что-то произошло. Где случилось что-то, о чём никто не знает, но что пропитало каждую стену, каждую вещь, каждый вдох, как влага пропитывает старое дерево.

Чикатило поднёс чашку к губам и отпил. Чай был горячим, но он не чувствовал ни вкуса, ни тепла. Он вообще ничего не чувствовал — ни страха, ни раскаяния, ни сожаления. Только странное спокойствие, как будто всё встало на свои места. Как будто он всю жизнь ждал этого момента — и вот он наступил, и теперь можно просто... жить. Просто пить чай. Просто смотреть на снег.

«Ты убил ребёнка», — сказал голос внутри него.

Чикатило поставил чашку на стол и посмотрел на свои руки. Чистые. Обычные руки. Руки человека, который сегодня ничего не делал — просто пил чай. Только под ногтями, если приглядеться, чуть-чуть тёмного — шепотка земли, забившаяся в уголок. Земля, которую он ещё не стряхнул как следует, когда одевал девочку, когда нёс её к реке, когда смотрел, как течение уносит её в чёрную полынью.

«Это была ошибка», — подумал он.

«Нет, — ответил голос. — Это было начало».

Чикатило закрыл глаза и вспомнил. Кровь на своих руках — тёплая, густая, живая. Крик девочки — тонкий, пронзительный, как звук неисправного рельса. Тишину после — огромную, белую, всепоглощающую. И это чувство — чувство, которое нельзя описать словами, которое было похоже на... на что? На облегчение? На освобождение? Нет. На власть.

На власть.

Голова человека, который держит жизнь и смерть в своих руках. Который может решить — быть или не быть. Который, как Бог, сидит в маленьком мирке с запахом почвы и делает что хочет. Чикатило открыл глаза и посмотрел на портфель, который лежал на стуле. Тот самый портфель, который он носил с собой всегда — с документами, с бумагами, с планами. Внутри, в потайном кармане, лежал нож. Острый, кухонный, с длинным лезвием. Он купил его недавно — просто так, на всякий случай. Мало ли что.

Теперь он знал, для чего.

Чикатило встал, подошёл к портфелю и провёл кончиками пальцев по потёртой коже. Кожа была тёплой — он всегда удивлялся, как вещи, которые носит человек, становятся тёплыми от его тела, как будто впитывают его, его тепло, его запах, его тайны. В этом портфеле теперь лежала его тайна. И она грела его лучше, чем печь, чем чай, чем жена.

«Надо будет купить новый нож, — подумал он. — Этот уже... использован».

Эта мысль не вызвала в нём ни дрожи, ни ужаса. Ничего. Просто деловая мысль человека, который собирается на работу.

Он снова сел за стол, налил себе ещё чаю и принялся за газету. На вид — совершенно спокойный, совершенно обычный человек, читающий газету в тихом доме, под рваный стук

старых часов, под тихое тиканье, которое теперь казалось ему громче, чем раньше. Громче и ближе. Как будто под полом, под домом, усердно дышала шахта.

«Третья смена, — подумал он, сам не понимая, что это значит. — Третья смена».

Вечером того же дня в прокуратуру пришёл человек.

Ковалёв как раз собирался домой — накинул пальто, взял шапку, погасил настольную лампу. В дверь постучали. Негромко, но настойчиво — так стучат люди, которые пришли по важному делу.

На пороге стоял высокий, сутулый мужчина в сером пальто и круглых очках. В одной руке он держал потёртый портфель, в другой — шапку-ушанку, которую бережно комкал, как будто это была не шапка, а нечто хрупкое. Лицо — широкое, незлое, спокойное. Глаза за стёклами — маленькие, водянистые, испуганные.

— Здравствуйте, — сказал он тихо, с лёгкой заиканием. — Я... я по делу. Об убийстве. Я слышал, что девочку нашли... и я подумал... я, может, видел её. Хочу помочь.

Ковалёв оглянулся на Виталия, который ещё сидел за своим столом, разбирая бумаги. Виталий поднял глаза и посмотрел на человека с тем же выражением — сначала профессиональным, потом удивлённым.

— Проходите, — сказал Ковалёв. — Садитесь. Раздевайтесь.

Человек вошёл, осторожно, как входят на чужую кухню, — сторонясь, задевая локтями дверные косяки, извиняясь. Снял пальто, аккуратно повесил его на вешалку, снова что-то поправил, снова спохватился. Сесть не спешил — стоял, переминаясь, держа перед собой портфель, как щит.

— Меня зовут Андрей Романович, — сказал он. — Я работаю преподавателем. В школе-интернате 32 в Новошахтинске. А живу здесь, в Шахтах. Я... я слышал про девочку. Про Лену Закотнову. Это ужасно.

Ковалёв кивнул, разглядывая его. Мужчина как мужчина. Лет сорока с небольшим, сутулый, с заметной усталостью в лице. Таких в городе тысячи — учителя, инженеры, служащие. Они ездят в электричках, носят такие же пальто, держат такие же портфели. Именно поэтому описание свидетеля — высокий, в очках, в сером пальто — было почти бесполезным. Оно подходило к каждому третьему мужчине в области.

— Вы видели её? — спросил Ковалёв, садясь за стол и жестом предлагая посетителю сесть напротив.

— Да. То есть... я думаю, что это была она. — Человек осторожно опустился на стул, всё ещё сжимая портфель. — Она стояла на остановке. «Трампарк». Вечером, двадцать второго. Я выходил из трамвая — возвращался домой с работы. И я её увидел. Она была... она казалась замёрзшей. И немного растерянной. Такая маленькая, одна, в темноте...

Голос его дрогнул. Он опустил голову, и Ковалёв на секунду подумал, что человек сейчас заплачет. Но тот справился, сглотнул, поднял голову.

— Я хотел подойти, спросить, всё ли в порядке, — продолжил он. — Но подумал... мало ли кто я для неё. Чужой дядя. Так что я просто пошёл мимо. И кто-то другой... — он протёр очки. — Если бы я тогда что-то сделал...

Он замолчал, уставившись в пол, и несколько мгновений в кабинете было тихо. Ковалёв поймал себя на том, что смотрит на него так, как смотрит на человека, мимо которого нельзя пройти, — внимательно, цепко, запоминая детали. Лицо. Голос. То, как он держит портфель. То, как его пальцы — длинные, сухие, с плоскими ногтями — сжимают ремень, как будто портфель может отнять.

Он перевёл взгляд на Виталия, который сидел в углу, делая вид, что перебирает бумаги, но на самом деле слушал. Виталий чуть заметно пожал плечами: ничего криминального, обычный человек, хочет помочь.

И всё же что-то в этом человеке — в том, как ровно, без единой запинки, он излагал свою версию, как будто отрепетировал её много раз, — цепляло Ковалёва. Слишком гладко. Слишком правильно. Слишком — по писаному.

«Почему он пришёл именно сейчас? — думал Ковалёв. — Мы не разглашали приметы свидетеля. Мы не называли остановку, не называли время. Газеты сегодня ещё не вышли. А он уже здесь — и знает и остановку, и что она была замёрзшей, и что в красном пальто. Откуда?»

Он не сказал этого вслух — не было оснований. Но внутри у него, под спокойствием опытного следователя, уже поселился тот самый знобящий холодок, который не обманывает, когда дело доходит до настоящего зла.

Он слушал дальше. И запоминал.

Ковалёв не стал больше спрашивать. Он вежливо поблагодарил человека в сером пальто за помощь, записал его фамилию, заверил его, что «если вспомните что-то ещё — приходите», и проводил до двери. Он смотрел, как сутулая фигура спускается по лестнице, растворяется в темноте прихожей, исчезает за входной дверью, — и долго стоял, глядя на закрытую дверь.

Что-то было не так. Что-то в этом человеке — в его голосе, в его движениях, в том, как он говорил об этой девочке, — было неправильно. Слишком правильно. Слишком отрегулировано. Как будто он пришёл не помочь, а посмотреть. Как будто он пришёл затем, чтобы быть рядом с делом, с его ритмом, с его следом, — чтобы слышать, о чём говорят, что знают, куда смотрят.

Ковалёв вернулся к столу, сел, взял ручку. Он не знал ещё — не мог знать, — что только что разговаривал с убийцей.

Он этого не знал целых двенадцать лет.

Домой Ковалёв вернулся поздно.

Он не пошёл в гостиную, не стал ужинать. Он прошёл в свою маленькую комнату, сел на кровать и долго сидел в темноте, глядя на светящееся пятно окна, за которым всё шёл и шёл снег. Наталья — жена — уже спала, и он был этому рад: он не знал, что бы ей сказал, если бы она спросила.

Он думал о том, что сегодня произошло. О девочке в красном пальто. О реке. О морге. И — о человеке в сером пальто, который пришёл в прокуратуру, чтобы «помочь». Который знал остановку. Который знал, что она была замёрзшей. Который говорил так ровно, так правильно, так — будто по писаному.

«Я не могу его арестовать, — думал Ковалёв, глядя в темноту. — У меня нет ничего. Ни одной улики. Только ощущение. Только этот холодок, который не проходит. Только двенадцать лет опыта, который кричит мне: что-то здесь не так».

Он провёл рукой по лицу. Он был устал — так, как устают в конце очень длинного дня, который не приносит облегчения. Но он не мог заснуть. Он всё думал о том человеке — о его сутулой фигуре, о его потёртом портфеле, о его пальцах, сжимавших ремень.

«Если это он, — думал Ковалёв, — если это действительно он — то он только что стоял передо мной и смотрел мне в глаза. Он только что сказал мне, что видел её. Он только что был в двух шагах от того, чтобы признаться — и не признался. И я его отпустил. Я не имею права его подозревать — у меня нет ничего. Но я его отпустил».

Он встал, подошёл к окну, раздвинул штору. За окном, в свете далёкого фонаря, падал снег — тихий, ровный, бесконечный. Где-то там, за этим снегом, за этим городом, шёл домой человек в сером пальто. Или уже пришёл. Или стоит у окна и смотрит на такой же снег.

Ковалёв смотрел в эту темноту долго — так долго, что перестал ощущать и время, и усталость. Он смотрел на снег и думал о том, что где-то в этом городе есть человек, который сегодня — может быть, прямо сейчас — чувствует себя очень спокойно. Потому что он остался незамеченным. Потому что он — обычный человек в сером пальто. Потому что он думает, что его никто никогда не найдёт.

Ковалёв не знал тогда, надолго ли ему хватит этой ненависти. Не знал, выдержит ли он эту охоту. Не знал, что она будет длиться двенадцать лет и заберёт у него всё.

Но в ту ночь, глядя на падающий снег, он поклялся себе — тихо, никому не слышно:

«Я найду тебя. Пусть пройдут годы. Пусть я буду искать тебя всю жизнь. Я найду тебя».

Он закрыл штору, вернулся в кровать и лежал, глядя в потолок, до самого утра.

А под городом, где-то внизу, в темноте — глухо и ровно, как сердце, — тикала та самая шахта, о которой он тогда ещё не знал. И это тиканье — это было начало той самой ноты, которую он будет слышать все последующие двенадцать лет.

«И Я поставлю тень, чтобы укрыть вас от зноя».

— от Исаии, 4:6

Чикатило шёл домой и улыбался. Впервые за долгое время он улыбался по-настоящему — широко, свободно, как ребёнок, которому подарили что-то ценное. Он только что стоял перед следователем, смотрел ему в глаза и говорил про девочку в красном пальто. И следователь ничего не понял. Ничего.

«Они никогда не поймут, — думал Чикатило. — Они ищут монстра. Они думают, что монстр — это что-то из фильмов, что-то страшное, что-то с рогами и когтями. А я — обычный человек. Человек в сером пальто. Человек с портфелем. Я — их сосед, их коллега, их знакомый. Я — тот, кому они уступают место в электричке».

Он вошёл в дом, снял пальто, повесил его на гвоздь. Жена ещё не вернулась, дети были у бабушки. Тишина. Та самая тишина, которая теперь была для него не пустой, а полной — полной тайны, которая грела его изнутри.

Он прошёл в свою комнату — маленькую каморку, где стояла кровать, стол с бумагами и тяжёлый шкаф. Он открыл шкаф, пошарил рукой на верхней полке, за стопками старых журналов, и нащупал холодную рукоятку.

Нож.

Длинное, отточенное лезвие задумчиво блеснуло в свете настольной лампы — чистое, острое, готовое. Чикатило долго смотрел на него, держа перед собой, как кто-то держит часы, сверяя время. Ему казалось, что лезвие помнит. Что оно помнит всё — тепло, кровь, крик, тишину. И что оно ждёт.

Он убрал его обратно — осторожно, бережно, как прячут что-то драгоценное. Ещё не время.

Но время придёт.

Он вернулся к столу, сел и взял тетрадь в клеточку. На обложке его старательным почерком было выведено: «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ». Внутри — ровные колонки: названия произведений, фамилии писателей, даты. Аккуратно, как учат в пединституте. Чикатило открыл тетрадь на последней странице и, оглянувшись на дверь, вывел на чистой странице одну фразу.

Маленькими, убористыми буквами, как будто боясь, что кто-то прочтёт:

«Третья смена началась. Я — дежурный».

Он долго смотрел на эти слова, потом закрыл тетрадь и убрал её в ящик стола. За окном, под снегом, под городом, под всем, усердно дышала шахта. И под её тихим, ровным тиканьем Чикатило заснул крепко, без снов, как человек, который наконец-то нашёл своё место в мире.

Глава 2. Гуренковадрожит

«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным».

— *Евангелие от Луки, 8:17*

Светлана Гуренкова не помнила, когда последний раз спала больше двух часов подряд.

Сначала был сам тот вечер — двадцать второе декабря, остановка «Трампарк», снег, силуэты в свете фонаря. Она тогда торопилась домой, не смотрела по сторонам, думала о своём — о стирке, о муже, который опять задерживался, о том, что в кошельке осталось на копейки. Она остановилась на минуту — перевести дыхание, поправить платок, — и краем глаза увидела их. Девочку в красном пальто. И мужчину рядом — высокого, сутулого, в сером пальто.

Она тогда не придавала этому значения. Отца с дочерью, решила она. Или учителя с ученицей. Кто в темноте разберёт. Она просто отметила это — отражение в глазу, мгновение, — и пошла дальше, в свой тёплый дом, к своему ужину, к своему мужу, который в тот вечер был почти ласков.

А потом девочку нашли.

И всё это — тот снег, тот фонарь, те два силуэта — вдруг вынырнуло из памяти, как из чёрной воды, целиком, во всех деталях, и легло на неё тяжёлым грузом, от которого не было защиты. Потому что теперь она знала: то, что она видела в тот вечер, было не «отцом с дочерью». Это был убийца, уводящий свою жертву. И она, Светлана Гуренкова, прошла мимо. Не остановилась. Не спросила.

«А что я могла сделать? — спрашивала она себя сотни раз. — Я же не знала. Кто бы знал?»

Но вопрос этот не успокаивал. Потому что где-то внутри, под всеми оправданиями, жил другой вопрос — тихий, въедливый, неотвязный: «А почему ты не остановилась? Почему прошла мимо?» И ответа на него не было. Только пустота.

И ещё был страх.

Вот об этом страхе она никому не рассказывала — ни мужу, ни следователю, ни самой себе, если честно. Потому что страх этот был не том, что она может вспомнить что-то страшное или что её привлекут к ответственности. Страх был о другом. О том, что она знает больше, чем говорит. О том, что она видела то, чего не должна была видеть.

Она видела его ещё раз.

Это было на следующий день после убийства — двадцать третьего декабря, в магазине, в хлебном отделе. Светлана стояла в очереди, смотрела в никуда, думала о том, что надо бы купить батон и, может, пряники, если будут. И тут он вошёл.

Мужчина в сером пальто.

Он был без шапки — примёрзшие волосы, очки, запотевшие от тепла. И у него было такое спокойное, такое обычное лицо. Как у человека, который просто зашёл за хлебом. Встал в очередь, посмотрел на витрину, достал из кармана мелочь — стал пересчитывать, проверяя, хватит ли ему на полбуханки.

Светлана тогда не узнала его. То есть узнала, но не так — просто отметила, что вот, тот же силуэт, что и вчера на остановке. Отец девочки, получится. Сосед. Кто-то. Она не придавала этому значения — не тогда. Тогда она думала про батон и пряники.

А теперь, когда девочку нашли, когда в милиции ей показали фоторобот, когда она дала показания — а потом снова и снова перебирала тот вечер, — она вдруг вспомнила про это. Про магазин. Про мужчину с мелочью в руке. Про то, что он был на следующий день после смерти девочки в том же самом сером пальто — и выглядел совершенно спокойно.

И вот тут ей стало по-настоящему страшно.

Потому что если это был он — если человек, который убил девочку в красном пальто, на следующий день спокойно зашёл в хлебный отдел, пересчитал мелочь и купил полбуханки, — то это значит... это значит, что убийца ходит среди них. Что у него такое же обычное лицо. Что он не похож на монстра. Что он — один из них, из обычных, из тех, кто ходит за хлебом.

И ещё это значит — она видела его дважды. А не сказала.

Она лежала ночью без сна, и мысль эта — мысль о том, что она видела его дважды, а не сказала никому, — точила её, как ржавчина. Она перебирала в памяти тот день — хлебный отдел, очередь, мужчина с мелочью в руке. Она видела его ясно — так ясно, как не видела никого из незнакомых людей. И чем яснее видела, тем страшнее ей становилось от собственного молчания.

Потому что она понимала: то, что она делает, — это не «защита». Не «осторожность». Это — соучастие. Им, в милиции, сейчас нужна её правда — а она держит её в себе, как держат камень, который лучше отдать, но не отдадут из страха.

«А что, если он узнает? — думала она. — Что, если меня вызовут ещё раз, и я скажу — я ведь скажу, наверное, — и он узнает, что я его видела? Что, если он придёт за мной — как пришёл за той девочкой?»

Этот страх — страх за собственную жизнь — был простой и понятный. Но был и другой, глубже, страшнее. Страх перед тем, что, назвав его, она перестанет быть обычной женщиной, которая просто ходит по магазинам, и станет — свидетельницей. Человеком, которого будут вызывать, расспрашивать, показывать фотографии. Человеком, которого больше не оставят в покое её собственная память.

Она боялась обеих вещей. Она боялась сказать — и боялась не сказать. И в этом двойном страхе, в этой глухой ловушке, она выбирала молчание — как выбирают меньшее зло.

Она не знала ещё, что молчание это — не меньшее зло. Что оно — то же самое зло, только тихое. Что своим молчанием она, может быть, отдаёт кому-то другому, кто-то другой девочке в красном пальто, тот самый шанс на спасение, который сама не воспользовалась.

Но это она поймёт позже. А пока — пока она лежала в темноте, глядя в потолок, и оттягивала решение сказать правду, — молчание её становилось всё тяжелее.

И под городом, под домом, под всем — как один из тех далёких, неотступных звуков, о которых не говорят вслух, — глухо и ровно тикало что-то, чему она не знала имени, но что всё равно было здесь, рядом, всю её жизнь.

Она не знала, что это такое. Но она чувствовала, что это связано с ним.

— Значит, двадцатого или двадцать второго? — переспросил следователь Ковалёв, глядя на неё поверх своих бумаг.

Светлана сжалась. Она сидела на скрипучем стуле в кабинете, который пах табаком, бумагой и чем-то ещё — неуловимым, казённым, от чего всегда гудела голова. За окном падал снег — белый, тихий, безразличный.

— Я... я не знаю, — сказала она. — Я запуталась. В тот вечер... я не помню точно, какое число было.

— Вы сначала говорили, что двадцатого. Потом — что двадцать второго. — Ковалёв отложил ручку. — Понимаете, это важно. Если девочка пропала двадцать второго, а вы видели её с мужчиной двадцатого...

— Я не знаю! — Голос Светланы дрогнул и сорвался. — Я просто не помню точно. Простите. Всё как-то... крутится.

Она ненавидела себя за эту слабость. Она хотела быть полезной, хотела помочь, чтобы как-то загладить то, что прошла мимо. Но вместо этого путалась, врала, недоговаривала. И хуже всего было то, что она сама не понимала — что именно она не досказывает. Главное-то было в магазине. Про магазин она молчала.

Почему?

Она не могла ответить на этот вопрос даже себе. Может быть, потому, что боялась, что её не поймут. Что скажут — «вот, свидетельница путается, то одно говорит, то другое». А может быть, потому, что ей казалось — если она расскажет про магазин, про то, как спокойно он пересчитывал мелочь, — это всё станет настоящим. По-настоящему страшным. Необратимым.

Пока она молчит, это ещё можно списать на совпадение. Можно сказать себе: «Мало ли кто в сером пальто? Полгорода ходит в серых пальто». А если она проговорится — уже нельзя будет сделать вид.

— А про мужчину, — снова заговорил Ковалёв, — вы говорите, он был высокий, в очках, в сером пальто. Больше ничего не помните? Лицо? Голос?

— Нет. — Светлана покачала головой, глядя в пол. — Темно было. Он стоял в тени. Я только... я только пальто запомнила. Серое.

Ковалёв вздохнул и отложил бумаги. Он смотрел на неё — на эту женщину, которая сидела перед ним, мелко трясясь, со сцепленными на коленях пальцами, и она казалась ему одновременно и обычной, и неправильной. Обычной — потому что таких свидетельниц он повидал сотни: испуганных, путающихся, недовольных собой. Неправильной — потому что она не смотрела ему в глаза. Всё время в пол, в окно, куда угодно, только не на него.

И ещё она всё время оглядывалась на окно.

За окном падал снег. За окном, в темноте, стоял город — обычный, заснеженный, спящий город. И Светлана смотрела на это окно так, как будто боялась, что за ним кто-то стоит.

— Светлана Ивановна, — мягко сказал Ковалёв, — вы боитесь чего-то? Выглядите... очень напряжённой.

— Нет, что вы, — быстро ответила она. — Просто устала. Не спала. Нервы.

— Понятно. — Ковалёв помолчал. — А вы не могли бы описать его ещё раз? В деталях. Пальто. Какие пуговицы. Что-нибудь.

Светлана снова покачала головой, но на этот раз в её глазах что-то мелькнуло — не страх, а что-то другое. Сомнение? Колебание?

«Скажи, — шепнул ей внутренний голос. — Скажи про магазин. Расскажи про мелочь. Про полбуханки».

Но она не сказала.

— Я всё сказала, — произнесла она через силу. — Можно я пойду? Мне... мне надо домой.

Ковалёв кивнул. Она встала, заторопилась, едва не уронив стул, и вышла. Дверь закрылась.

Ковалёв остался один. Он долго смотрел на закрытую дверь, на только что исписанный лист, на окно, за которым кружился снег. Потом взял ручку и вывел на полях пометку — короткую, деловую, но с внутренним холодком:

«Свидетельница Г. держится неестественно. Путается в датах. Говорит мало. Боится (окно?). Возможно, что-то умалчивает. Допросить повторно, с психологом».

Он отложил ручку и посмотрел в окно. Город спал под снегом, и в этом сне была какая-то дурная, неправильная тишина. Ковалёв не знал ещё, что ответы лежат не в протоколах, а в той женщине, которая только что вышла за дверь, унося с собой страшную, невысказанную правду.

Светлана Гуренкова вернулась домой и заперла дверь на два оборота.

Муж был на работе, в доме было тихо и пусто. Она прошла на кухню, налила себе чаю, но пить не стала — так и сидела, глядя на остывающую кружку, на своё отражение в тёмном окне, на падающий снег.

«Почему я не сказала? — думала она. — Почему?»

Но ответ был прост, страшен и лежал на поверхности. Она не сказала, потому что боялась. Боялась назвать его убийцей, потому что он был такой обычный. Боялась, что если она скажет

— и они его поймают, а она ошибётся, — то будет виновата в том, что оговорила человека. Боялась, что если она скажет — и они его поймают, и он НЕ ошибся, — то... то что?

Она не знала. Она просто боялась. Всего. Себя самой. Своей памяти. Своих мыслей.

Вечером, когда стемнело, Светлана задёрнула шторы. Потом проверила шпингалеты на окнах. Потом ещё раз — на кухне. И только потом, лёжа в постели с включённой настольной лампой, она попыталась заснуть.

Но уснуть не могла.

Она лежала и слушала тишину дома — скрип отопления, дыхание. И вдруг ей показалось... ей показалось, что за окном, на улице, кто-то стоит. Она не слышала шагов. Не слышала ничего. Просто почувствовала — то самое непонятное, волосяное чувство, что на тебя смотрят.

Светлана медленно поднялась, подошла к окну и, отодвинув край шторы, выглянула.

Улица была пуста. Снег. Фонарь. Тёмные силуэты домов. Никого.

Но когда она уже отвернулась, краем глаза уловила движение — у дальнего угла дома, в полосе тени. Что-то шевельнулось. Человеческий силуэт? Она не успела разглядеть. Тень смыкнулась, и всё.

Светлана замерла, прижав ладонь к губам. Сердце колотилось где-то в горле. Она стояла долго, боясь двинуться, боясь, что если двинется — тот, кто стоит в тени, увидит её за шторой.

«Тебе показалось, — шептала она себе. — Это тени. Это просто снег и тени. Тебе показалось».

Но она не верила себе.

Она вернулась в постель, включила лампу ярче и не гасила её до утра. И всю ночь ей казалось, что из-за окна, из темноты, на неё кто-то смотрит — терпеливо, спокойно, как человек, который умеет ждать. Как человек, который заходит за хлебом на следующий день после того, как убил ребёнка. И пересчитывает мелочь. И улыбается.

Светлана Гуренкова лежала на спине, глядя в потолок, и думала о том, что, может быть, она уже слишком много знает. Может быть, она теперь — следующий, кто знает слишком много.

Может быть, теперь за ней придут.

Наутро Ковалёв сидел в кабинете психиатра Семёна Григорьевича Муромцева.

Это был маленький человек с большими, внимательными глазами и руками, которые никогда не лежали спокойно — они перебирали карандаши, катали по столу ластик, складывали и расправляли салфетку. Муромцев работал при областном психиатрическом диспансере и был одним из немногих в этих краях, кто всерьёз занимался проблемой серийных убийств — правда, на свой страх и риск, потому что официально такого понятия в 1978 году почти не существовало.

— Она боится, — говорил Ковалёв, отпивая чай из гранёного стакана, который у Муромцева был единственным на двоих и пах липой. — Я видел сотни свидетелей. Трусы, наглецы, равнодушные. Но эта женщина — она держится так, будто не боится милиции. Будто боится кого-то другого.

— Или чего-то, — добавил Муромцев, не поднимая глаз от ластика, который он то ли крутил, то ли гладил. — Скажите, Иван Антонович, а вы верите в то, что эта Гуренкова говорит правду — просто не всю?

Ковалёв помолчал. Потом медленно кивнул.

— Верю. Она что-то видела. Что-то, о чём молчит.

— А почему молчит, как думаете?

— Потому что боится.

— Чего именно? — Муромцев наконец поднял глаза. — Того, что не назовут виноватым? Того, что затаскают по заседаниям? Или того, что, если она заговорит, к нему придут по её следу — и она станет одной из тех, кто «видел слишком много»?

Ковалёв поставил стакан.

— Семён Григорьевич, — сказал он. — Вы говорите странные вещи. Как будто убийца — это не человек, а... какая-то сила, которая ходит за свидетелями.

— Я говорю, как врач, — ответил Муромцев. — И я вам скажу вот что, Иван Антонович. Такие дела — они не начинаются с первого трупа. Не начинаются они и с последнего. Они начинаются вот здесь, — он постучал пальцем по краю стола, — в том, как обычные люди видят необычное и прячут его подальше, потому что обычное им привычнее. Ваша Гуренкова видела что-то. Видела и решила, что ей это проще забыть. И теперь это не просто мешает следствию. Это мешает ей жить.

Муромцев помолчал, встал и подошёл к окну.

— И вот что ещё, — сказал он. — Посмотрите на это дело. Девочка. Остановка. Вечер. Мужчина в сером пальто, который, судя по всему, заманил её. Это, Иван Антонович, не обычное убийство. Это не ревность, не пьянка, не драка. Это выбор. Выбор жертвы. И если это так — то это будет не одно убийство.

Ковалёв замер.

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю, — честно ответил Муромцев, отворачиваясь от окна. — Я врач. Я предполагаю. Но я видел таких людей — с глазами, в которых нет ничего. И я вам скажу: когда такой человек впервые делает это, он останавливается ненадолго. Чтобы услышать себя. А потом он это повторит. Потому что... — Муромцев на секунду запнулся, подбирая слова. — Потому что он уже не сможет жить без этого. Это станет его работой. Его сменой.

— Сменой? — переспросил Ковалёв. — Почему сменой?

Муромцев будто удивился собственным словам. Некоторое время он смотрел на свои руки — на ластик, который снова оказался между пальцев.

— Не знаю. Слово само пришло. Может, потому, что он похож на рабочего, который выходит на свою смену и делает своё дело. А потом идёт домой и спит. — Муромцев поднял голову. — Вот это самое страшное, Иван Антонович. Не то, что он убивает. А то, что он потом идёт домой и спит.

Ковалёв смотрел на Муромцева, и внутри у него что-то холодело. Он хотел было возразить — сказать, что это всё книжные умствования, что убийцы ловятся не по экстрасенсорике, а по розыску, — но слова не шли. Потому что в тишине кабинета, в запахе липы и табака, ему вдруг явственно вспомнился тот человек — высокий, сутулый, в сером пальто, который пришёл в прокуратуру «помочь». И как спокойно, ровно, правильно тот говорил про девочку в красном пальто. И как комкал шапку.

И как на следующий день после убийства, может быть, зашёл в магазин — за хлебом.

«Идёт домой и спит», — повторил про себя Ковалёв.

И впервые за двенадцать лет работы ему стало по-настоящему не по себе.

Два дня спустя Гуренкова снова пришла в прокуратуру.

Она была ещё бледнее, чем в первый раз. Под глазами — синие тени, губы сухие. Она попросила встречи с Ковалёвым срочно — сказала, что вспомнила.

— Я хочу сказать, — начала она, сжимая руки, — про магазин. Я видела его в магазине. На следующий день.

Ковалёв сел напротив неё, глядя напряжённо.

— Продолжайте.

— Там, в хлебном отделе. Двадцать третьего декабря. В обед. Он зашёл, встал в очередь, — она говорила быстро, словно боялась, что передумает, — в сером пальто, без шапки, в очках. Он пересчитывал мелочь. Купил полбуханки. И лицо у него было... — она всхлипнула, — спокойное. Совершенно спокойное. Как будто ничего не случилось. Как будто он просто зашёл за хлебом.

Ковалёв записывал, стараясь не выдать волнения.

— Вы уверены, что это был тот же человек, которого вы видели на остановке?

Светлана замерла. И тут — первый раз, — она подняла на него глаза. По-настоящему подняла, прямо и твёрдо.

— Да. Я уверена. Я его узнала.

— Почему же вы не сказали раньше?

— Потому что боялась. — Голос её прозвучал тихо, но твёрдо, без дрожи. — Боялась, что не поверят. Что решат, что я всё перепутала из-за нервов. И ещё... — она замолчала, подбирая слова.

— Ещё что?

— Ещё мне казалось, — медленно проговорила Светлана, — что если я скажу про магазин, он про это узнает. Что он... что он узнает, что я его видела дважды. И что он придёт. — Она снова опустила глаза. — Глупо, да?

— Нет, — сказал Ков

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.